

АНДРЕЙ ГУБИН

# СЧАСТЛИВЫЙ БРАК

РАССКАЗ

Алигьери Данте возвращался с партийного собрания.

Спит его родина, двулика Флоренция. Посредничая в торговле, она позолотила рыцарскую готику Запада, а с блеском восточного серебра, тканей, камней приобрела угодливость и хитрость служанки.

Мраморные дворцы, просторные дома торговых и промысловых компаний, средневековые замки насильно переселенных в города феодалов-грандов и тесные лачуги ремесленников, подмастерьев, тощего цехового плебса.

Орлиное лицо гвельфов — сторонников папской власти — и мрачный лик гибеллинов — обломков дворянских родов, воюющих за власть германских императоров в Италии.

Гибеллины еще прочно сидели в Милане. А в городах-коммунах Пизе, Тоскане, Флоренции победили «капитаны народа», гвельфы — мастера, торговцы, ростовщики. Они изгнали гибеллинов. Но победа выела им сердце. В борьбе за власть гвельфы раскололись на черных и белых. Постепенно черные заняли место гибеллинов.

Данте, двадцатилетний потомок крестоносцев, сын старшины цеха фармацевтов, солдат в войне Флоренции и Генуи, посол республики в Ватикане, самый блистательный поэт из молодых, стал лидером белых.

Ненавидя папский престол и копыа интервентов одинаково, белые отстаивали свободу коммун и требовали независимости Венеции — родины банкирских домов.

Черные готовились резать белых.

Надо скрыться. Подальше. Хоть в ад. Чтобы не прекратить борьбы. Меч отточен — легкое перо деревенского гуся.

Для начала в ад он поместит и своих политических противников. Сам пойдет дальше — на высочайшие вершины духа. Посещение загробного мира давно привлекает его. Теперь

ясна цель путешествия в края отошедших богов и героев: чтобы с точки зрения своей партии судить поколение, наполняя ад двурушниками.

Иного применения искусству Алигьери не знает. Еще в детстве он сочинял терцины против уличных мальчишек, сражающихся с ним камнями и гнилыми персиками. Его первые сонеты преследовали сугубо определенную цель: добиться любви дочери соседа Портинари — сказывался новый, деловой, буржуазный дух эпохи.

Ярой, откровенной партийной поэзии его научили Гомер и церковь. Грек прямо чернил дезертира Терсита, буйных женихов Пенелопы и идеализировал богоравного царя Одиссея, который не всегда был справедлив и добр. Отцы церкви, святые основатели монашеских орденов, участники крестовых походов Доминик и Франциск не допускали и тайного сомнения в правде их учений.

Провансальскую, рыцарскую лирику флорентийцы переплавили в «сладчайший новый стиль». В любовной поэзии главными стали Донна Философия и Прекрасная Дама. Любовь служила добродетели и познанию божественных истин.

Гегель средневековья, отец схоластики Фома Аквинский, учил о трех видах любви: низменной — любовь камня и земли, чувственной — грубое тяготение полов и разумной — любовь людей к богу и бога к людям, любовь-причина создания мира.

Сладчайшие поэты преобразовали учение святого — чувственное они поднимали до разумной, божественной любви.

Данте превосходил всех в сладчайшем стиле, но случалось ему превосходить и святого Фому в мистике и схоластике. Лик поэта, как и его Флоренции, раздвоен. Впереди туманное будущее нового времени. Сзади древние греческие и римские поэты в

библейских туманах.

Спит жирная и тощая Флоренция. Спят черные и не знают, что он переселил их туда, где вечен скрежет зубовный. Бесшумно струятся воды сонного Стикса. В серном тумане плавают тени его врагов.

Он превысил полномочия бога — бог судит умерших, а он живых послал вертеть адские жернова. Это смелость любимого сына. Он предан небесному отцу и завидует славе предков, добывающих гроб господень.

По утрам в дымке пламенной зари он различает потный лик страдающего Христа. Вечерами, опуская глаза долу, видит лохмотья нищих и пурпур народных капитанов, скрывающих жирные животы просторными одеждами. Но сказано: блаженны нищие, ибо они наследуют царство божие... Легче верблюду пройти через игольное ушко, нежели богатому в рай...

По ту сторону мира он встретит любимых греческих богов и героев, поверженных Христом, и певца героев Гомера. Его придется также поместить в ад как язычника. Бедный грешник! Его вина в том, что он жил раньше Христа!

Однако поэт волен в движениях пера — и он определит Гомера, возможно, в чистилище, противореча церкви. В рай, конечно, нельзя — Данте истый христианин.

Вожатым он возьмет венец римских поэтов Вергилия, но лишь до рая — римлянин тоже не крещен. А лучезарной звездой, зовущей на вершины, будет сиять незакатная Богородица, Мадонна.

На груди он носит медальон с ниткой из одежды Марии. А черные приписывают ему знакомство с нечистой силой, чернокнижником, беседующим по ночам с дьяволом. Что ж, вот он и потащит вождей черных в преисподнюю.

Венеция, алмаз Европы, должна быть независима! С утра он напишет речь против папской энциклики. Пусть папа попирает надушенной сандалией опозоренный Рим и не вмешивается в жизнь свободных городов! Но он еще не выпил всю чашу тяжелой ночи.

Не все спали во Флоренции. В доме соседа Данте зажжены огни, слышна музыка. Поэт ускорил шаги. Почему в столь поздний час здесь веселье? Может, случилось несчастье и музыка эта врачебная? Только бы не с Беатриче!

У ворот стоял незнакомый лакей, освещенный горящей в черепках смолой. Увидев Данте, он зачерпнул венецианским ковшом вино из бочонка и протянул поэту:

— Прохожий, кто бы ты ни был, выпей за счастье моего господина — он женится на синьорине Портинари!

Алигьери выпил ковш до дна.

Беатриче выдают замуж. Отец Данте не хотел родниться с менее знатными, чем они сами, соседями. Отец Беатриче считал поэтов мошенниками с ветром в голове. Да и Беатриче только в ранней юности смотрела на стихи с радостью и волнением, а теперь — как на праздную забаву.

Сердце ее слишком греческое, языческое, требовало вмешательства клинков. Разум говорил о христианском смирении. Вместе с этим поэт испытал странное чувство радости и облегчения.

С девяти лет любит он Беатриче. Девятилетняя разлука только возвысила любовь. Но христианский аскет нуждается в подтверждении истины и необходимости страдания. Надо страшиться земного счастья, чтобы не потерять вечное — в кругу славы господней.

Будучи гениальным поэтом, он видел не то, что есть, а что быть должно. И он поместил Беатриче, по примеру суда над черными, в райских куцах. Пусть дочь Портинари блаженствует в теплой тине семейного довольства. Беатриче-мадонна вознеслась в ангелы для жизни непроходящей. В детстве она была резвой толстухой с масляными волосами и губами, как надкушенный гранат. В юности — постная синеглазая страдалница с бледным пучком тонких волос. Теперь поэт добавил слез и сини в глаза Беатриче и воздушного солнца в волосы, чтобы светился нимб. Образ любимой, очищенный от житейской скверны, стал идеальным, ибо поэты не довольствуются сущим, ищут путей ввысь и в даль — к любви, к Богу.

Возвращаясь однажды с тайного собрания белых, Алигьери встретил незнакомо старика знатного вида. Остановив поэта, старик сказал:

— Тебе не следует ходить на эти собрания. Теперь, когда она вознеслась в горние, ничто не мешает тебе прославить Любовь. Ты обречен с небесной невестой...

Измученный Данте впитывал музыку

слов — как узнал старик, что он вознес Беатриче в блаженные селения? Когда он очнулся, старик уже был далеко. Под бархатным плащом незнакомца топорщился меч, открывшая сутану папского легата.

И поэт поместил возлюбленную у самого престола Богоматери — высшая мечта смертных.

Судьбу Алигьери и Беатриче решали не они сами. Но поэт чувствовал и свою вину. Политическая борьба, пришедшая на смену честным рыцарским турнирам, осмысление мира, бог, творчество сильно отдалили его от синеглазой. Он шел между двух огней. Бог требовал душу целиком. Народ нуждался в его душе не менее бога. А еще требовали неустанных жертв Аполлон и Афина — боги муз и мудрости. Беатриче не оставалось ничего. Добиваясь свободы Венеции, поэт забывал присылать девушке цветы. Лунными, томительными для юных флорентинок, вечерами уединялся в библиотеке, а сонеты посвящал всевышнему. Беатриче не роптала. Говорили, что она упала в обморок, когда кардинал соединил ее брачными узами. По другим словам, брак Беатриче был счастливейшим в Италии.

Замысел комедии, произведения со счастливым концом, захватывал Алигьери. Прогуливаясь с Вергилием в эмпиреях, он то и дело встречал там знакомых, любимых, ненавистных — живых и мертвых. При этом его занимали аллегории, намеки, тайны. Толкование чисел тоже не чуждо ему. В чистилище он встретил даже своего отца, пока торгующего во Флоренции лечебными снадобьями.

В цех аптекарей отец вступил для того, чтобы дворянский род Данте получил гражданские права. Черные щеголялы «подлым» происхождением, смеялись над гербами и замками с амбразурами. Дворянам приходилось становиться сапожниками, гранильщиками зеркал, хлебопеками, — конечно, в чине цеховых мастеров, старшин, советников. Алигьери, потомок закованных в сталь магистров, числился аптекарем.

Несчастье обрушилось внезапно. Беатриче любила тонколицего Алигьери. Но ее отец разорился в борьбе с гибеллинами, а Данте — отпрыск старинного рода, сохранившего богатство. Беатриче, недолго прожив в браке, умерла — тихо, не боля, просто однажды

утром не проснулась.

Религиозный трепет потряс поэта. Пришло суровое возмездие за созданные в воображении картины ада и рая. Судорожно он нес свечу за гробом. Кара эта — милость божья. Бог поражает тех, кого возлюбил. Так всевышний укрепил небесный брак.

Донна Философия стала постоянной спутницей поэта. Замкнутость рождала страстные строки о будущей встрече.

Раздробленность городов-коммун привела поэта к мысли о необходимости наместника бога, монарха. Он стал посещать собрания гибеллинов. «Капитаны народа» старались урвать кусок пожирней, и коммуны распались.

В палаццо тайного гибеллина он встретил синьорину, красота которой совпадала с греческим, а не библейским идеалом. Не дева Мария с острыми коленками и заплаканным личиком, в саване у пустого гроба. Полная, высокая Афродита, цветущая, как майские зори. Она любила арфу, стихи, вино, и вскоре пламень ее карих глаз достиг чела Данте. Поэт прекратил связь с гибеллинами.

В ясный, упоительно тихий день он нанял лодку и поплыл в манящую даль по реке Арно. Город утонул в дали, лишь видны золоченые шпили.

Нарядная лодка с шестью гребцами, под зеленым парусом, повстречалась ему. Кареглазая синьорина с открытыми сахарными плечами задумчиво окунала свежую розу в воду. Поэт решил не узнать ее — опустил глаза. Именно такой представляли сладчайшие поэты Прекрасную Даму — теплой, ароматной, чувственной.

Упала роза к его ногам. Данте молча молился, разыскивая в воинстве господина синеглазую страдалицу.

— Синьор поэт, — сладостно сказала синьорина, — вы больше не придете к нам? Мы вас всегда ждем и ставим бокал с вином на вашем месте.

Прогулка испорчена. Данте возвратился. Вечером охватил страх. Жизнь коротка, кровь кипит, жаждет пролиться золотым дождем на бесстыдно покорную Леду, а что даст вечность? Что есть истина?

Он боялся и избегал вечеров. Пламенные крылья утра приносили чеканные

канцоны «Новой жизни», небесной. А вечера одуряли гвоздикой, в вине горело солнце, волновала нежность женских линий. Вечерами звенели чаши добродушных греческих богов, курения пира скрывали потный лик страдающего Христа.

Закутанный в плащ, поэт подошел к палящо гибеллинов. Здесь он подвергался двойной опасности — и земной любви, и встречи с гвельфами. Из тьмы низко пронеслись три голубя. Данте перекрестился и, укрепленный, повернул назад.

Ночью снилась ему Беатриче, и он проснулся торжествующий, верный божественной любви. В предвидении вечера положил на стол четырехгранный венецианский стилет — лучше сразу в ад, чем к кареглазой красавице. В тот же день кареглазая красавица прислала ему бесстыдно распустившиеся розы и письмо на душистой бумаге. Восхитительно писала она о его канцонах и сонетах. Это была родственная, сладчайшая душа. Уныло подумал Алигьери: Беатриче никогда бы не поднялась до такого слога.

Вспомнились два-три момента, когда дочь Портинари выглядела некрасивой. Однажды ругала в присутствии гостя служанку за большой расход оливкового масла, поджимая тонкие губы. А как-то считала выстиранные сорочки — и губы выражали полное довольство. Маленьким крепким кулачкам Беатриче очень шли суповая ложка и молитвенник.

Лицо кареглазой светилось земной прелестью сквозь струны арфы.

В гневе за воспоминания Данте бросил и розы, и письмо в огонь. Пошел на могилу любимой и там поклялся написать о Беатриче книгу, равной которой нет и не будет, не считая святого писания.

Вечер прельщал бесовскими картинами обнаженных красавиц, греческих богинь, охотно любящих смертных на своих островах с потайными гротами. Он стыдился вечеров и ждал утра как избавление, как истину после лжи.

Он хотел заточить себя в монастырь, где и будет писать обещанную книгу. Обстоятельства вызвали его в Рим.

Черные гвельфы связались с папой и интервентами. Папа натравил на непокорную Флоренцию брата французского короля. В город вошли наемные войска. Черные резали

белых среди бела дня. Из Рима Данте вызвали на суд. Поэт не явился. Специальным законом его навсегда изгнали из Флоренции. Ему припомнили дворянское происхождение — звание аптекаря не спасло — и посещение гибеллинов, которых теперь, в 1302 году, изгоняли до седьмого колена.

Начались годы странствий. Дни одиночества — творчества дни. Ниже и ниже спускался он по жестокой лестнице в ад. Встреча с Гомером произошла все-таки в аду. Менее грешными оказались провансальские трубадуры — они в чистилище.

Верона. Жернова времени безжалостно перемалывали страсти, мысли, дела. Любовь к Беатриче оставалась целой. От любви кареглазой укрылся в иные сферы.

Прекрасная флорентинка дважды находила поэта. Он отвергал ее страсть. Не соблазнился и богатыми поместьями, и серебряными рудниками, принадлежащими ей. А уже нищета стучалась в его дверь. Он жил и по милости добрых людей, и подачками меценатов. Случалось ему поститься в скоромные дни и носить плащ с чужого плеча. Ибо путешествие в края богов и героев длится десятки лет. И по тем дорогам не текут молочные реки с кисельными берегами. Терн и волчец на тех путях. И золото строк.

На узорных скатертях баловней судьбы он писал густым вином о крутых ступенях чужого крыльца. В такие минуты он хотел бросить книгу, отречься от безжалостной любви, наняться грузчиком в мраморолонни, честно есть свою лепешку и спокойно спать на соломенной подстилке.

Приходило утро, и мудрый вожатый вел его выше.

— Враги славы моей,— говорил поэт после работы,— лень, зависть, суета,— вы стали еще ничтожнее. Слава творцу, я победил вас и сегодня. Когда-нибудь вы погибнете окончательно...

Падуя. Враги не дремали. Их содержала всемогущая Бедность. Не имея собственного дома, поэт вынужден пить с людьми, которые не понимают его, принимать в их дворцах благовонные ванны после лукулловых пирушек, теряя краткие миги обещанной жизни.

Будет ли жизнь там? Почему христианский бог заимствовал главные обряды у древнеиндийской религии, у греков? Неужели творцу вселенной не хватило воображения и

он поступил как плагиатор? Не вернуться ли миру к греческим богам и римской республике? Это вечерние мысли...

Мантуя. Струились золотые песчинки-минуты. Падали хрустальные камни часов. В море времен осыпается страшный оползень лет. Данте постарел и окончательно поборол любовь кареглазой. Давно не пишет она — ведь он отсылал ей письма ее нераспечатанными, хотя жалел об этом. В знойные ночи не раз готов был послать слугу за богатой красавицей.

Он перехитрил врагов его славы — поместил на блаженных высотах не Богоматерь, а Беатриче, Откровение, «Любовь, что движет сферы и светила». И упрямо спешил к ней с утра, сквозь терн и волчцы, в пепле и страхе страстей человеческих, в сияющей славе меча архангела...

Равенна. Последний приют. Высокий горбоносый человек с темным лицом бродит по июньским пригоркам, цветущим маками и сиреневой травкой. Небо густое, как море накануне бури. Чистая тревожная синева, молчаливая, недоступная. Сюда Алигьери ходит по утрам с мальчиками, собирающими цветы.

А в шемящий ветренный полдень, когда все, кроме ветра, успокаивается, он лежит в саду. На далекой вилле укрылся от страстей и преследования.

Тихо звенит вода в заросших лилиями канавах. Зеленые раки чуть шевелят клешнями. Серебряно шумит листва старых деревьев. Небо уже безмятежное, прощающее, умиротворенное. Нежная прозрачная грусть. Утренняя синь и свежесть погибли.

Где-то выше видимых сфер сияет вечный престол Беатриче. Сердце поэта стучит. Как недолговечен этот стук. Надо спешить на встречу с возлюбленной, выполнив обет. Но и суетиться нельзя — работа поэта тяжелее труда каменщика или морехода.

И он лежит долго, недвижно, пока старик рыбак в кожаном переднике, с красным рубцом на шее от железного ошейника, не приходит ловить маленьких вкусных рыбок на ужин синьорам, избегающим полноты.

Часто он видит не то, что перед глазами. Ученый монах соседнего братства получил из Иерусалима поэму дикого колхидского поэта и перевел латынью для божественных целей. Алигьери дивится мощи

поэмы и не может уйти от туманных гор, где высится замок с прекрасной пленницей. Печально отдыхает в прохладной пещере после жаркого дня бесплодных поисков витязь в тигровой шкуре. Служанка ласкает смоляные кудри господина — и он не противится ласкам, служанка — рабыня, с ней витязь не может изменить своей звезде. Книга эта опасна, бог в ней лишь подразумевается. Автор воспел земную любовь и, видимо, раскаявшись в этом, удалился монахом в святую землю.

Приходят добрые рыцари короля Артура. Его посещают римские ораторы. Вот он читает ирландскую «Книгу бурой коровы». Он не страшится подражать старым песням и заимствовать из хроник.

Он уже не стыдится вечеров. Ночи напролет оттачивает гибкие, как сталь, терцины. Уже не один гусь — поставщик перьев.

Враги славы его не вечны. Божественная любовь непроходяща. Багрово-черными тонами окрашена его молодость — потери, слезы, изгнание. Сумрачно золотыми красками творчества — зрелость. Чистым серебром пронизывает холод одинокой старости.

На закате дня, в вечер жизни, книга закончена, превосходно переписана и переплетена монахами, как новое евангелие. Купленная ценой жизни, она уже не радовала и уже не принадлежала ему. Тихо закрыл он рукопись и вышел в сад. Вечерняя заря догорала. Струилась сладость покоя и горечь немислимой победы.

Давно не помнят его любовную историю. Лишь молодые девушки Равенны со страхом и мольбой смотрят на опаленные адским пламенем щеки Алигьери и шепчутся о том, как в молодости поэт, искупая грехи, скитался в потустороннем мире.

Чтобы стать бессмертным, оставалось сделать последний шаг — соединиться с вечно юной Беатриче. Греки в таких случаях не медлили, христианин должен ждать своего часа.

— Какая-то синьора спрашивает вас, — сказала служанка.

Кареглазая дама. Для него по-прежнему статная, чувственная. Она поцеловала ему руку, постаревшая, грузная, в бедном платье — колесо фортуны повернулось.

Она ехала мимо, случайно узнала, что он укрылся на этой вилле. Любопытство и сентиментальные звуки давних воспоминаний заставили ее остановить карету. Так говорила она. А он видел, что она не разлюбила его, страдает и готова следовать за ним и в рубище. Бог просветлил ее языческую душу. Милость коснулась и ее. Глаза выцвели, тело потеряло стройность. Она уже достойна чистилища.

Прекрасная дама просила позволить ей мыть его обувь — и только. За его подвиг, за книгу. С поэтического сердца сорвался тяжкий слой духовного счастья, земного забвенья. Ему захотелось снова сказать первые строки книги: «Земную жизнь пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу».

Выполнив обет, он стал снова только человеком. Ему еще хотелось ласки, тепла, привета. Он одинок, как лунный луч на горах. Он взял в руки прекрасное породистое лицо флорентинки, погладил морщины, приблизил темные, еще волнистые с отцветающим ароматом волосы.

Все это отобрала Беатриче, готовящаяся стать добропорядочной и экономной хозяйкой и ставшая в первый ряд свиты бога. Он подумал, что белые гвельфы вообще мыслили слишком идеально, отвлеченно, поэтому и проиграли черным.

Бог возлюбил его как первенца нового времени. Одарил талантом. Стоял за плечами, когда он писал. И все же слезы упрека вскипали в сыновьем сердце. Теперь он признался, что образ кареглазой был дорог ему с первой встречи. Только он бежал от любви, как его предки бросали жен и детей, чтобы на песке Палестины пролить кровь за крест господя.

Он выполнил обет — и он свободен. Нечего делать ему в раю, когда его любимые герои пребывают в аду и чистилище. Он начнет с кареглазой новую жизнь — на земле...

Нет! Он любит Беатриче, как сын-бог любит пречистую, безвестную мать. Это ледяная любовь снежных вершин. Любовь созвездий, обреченных лететь в разных пространствах. Любовь-совершенство. Любовь-слава. Любовь-причина миров. А любовь с кареглазой — любовь бедных людей, угнетенных вдохновением и мечтой о прекрасном. Только, что есть прекрасное? На вершинах духа прекрасное уступает место истинному.

Не кощунствовал ли он в книге? В ней

Беатриче как бы жила, развивалась там, на престоле. С годами одежды ее стали пышными и прозрачными, плечи налились спелой сладостью, округлился, как у Афродиты, стан, потяжелела волна волос, а синие глаза отливали чувственным золотом кареглазой флорентинки.

Значит, не только бог стоял за его плечами, когда он писал!

Долго сидели они в звездном молчании. Вспоминали старинные ночи Флоренции. Они всегда любили друг друга. Только всегда между ними блестели капельки святого пота на лике снятого с креста. Это их брак был счастливейшим в Италии. Только плакать они уже не умели.

Занимался новый, карающий рассвет. Надо было уходить в новую жизнь — выше, дальше. Но сердце поэта не могло вторично выдержать столь ослепительного счастья. Он встал, сказал, что нарежет ей цветов на дорогу, подарит розы молодости, и пошел в глубину сада, навстречу утренним лучам языческой богини Авроры.

Молясь Беатриче, он просил простить его за ночное, шептал имя возлюбленной, ибо уже было утро.

Слуги догнали его слишком поздно — уже бессмертные ласково коснулись пальцами усталого лба Алигьери.

Уже спешили попы и кардиналы, чтобы причислить величайшего мученика к лику святых. Херувимы и серафимы кружились над садом. Крылья их обжигала пламенная Аврора, освещая славу Италии.

Боги, герои и рапсоды древнего мира собирались на тризну неисчислимым сонмом, гася ветром щитов и мечей бледные свечи христовых слуг...

Возможно, он умер и не так, а в постели, в окружении склянок, лекарей, почета и плачущих родных.

Но он умер так, как хотело его сердце, которое стучит уже семьсот лет под бронзовой плитой «Божественной комедии».

